

АПОЛОГИЯ СОКРАТА

Перевод С. А. Жебелева



ВВЕДЕНИЕ

И по форме, и по содержанию „Апология Сократа“ занимает среди произведений Платона исключительное место. По форме „Апология“ представляет собою не столь характерный для Платона диалог, в котором принимают участие хотя бы двое разговаривающих друг с другом лиц. „Апология“ имеет форму монолога: это речь, произнесенная Сократом в суде — пред судьями, на долю которых выпал жребий судить Сократа, и пред публикою, собравшеюся послушать процесс. Правда, и в „Апологию“ вставлен небольшой диалог между Сократом и одним из его обвинителей, Мелетом (гл. 12—15), но этот диалог составляет интегральную часть всего произведения и стоит в тесной связи со всем его содержанием, а к тому же и может быть объясняем практикою афинского судоустройства, не исключавшего прений сторон.

Итак, „Апология“—речь, произнесенная Сократом в свою защиту во время суда над ним. Строго говоря, это не одна речь, а три речи, тесно между собою связанные, хотя и отделенные одна от другой последовательными стадиями процесса. Первая речь, наиболее длинная (гл. 1—24), произносится Сократом в ответ на речь (или речи) его обвинителей. По композиции она распадается на следующие отделы: введение (гл. 1); прежние обвинения, выдвинутые против Сократа, в результате которых создалась „клевета“ на него (гл. 2—10); упомянутый диалог Сократа с Мелетом (гл. 11—15); рассказ Сократа о божественной миссии, возложенной на него Аполлоном Пифийским, и о тех последствиях, которые создались, в результате ее выполнения, для Сократа в политической и общественной обстановке его времени. За первую речью следуют две значительно более короткие речи: первую (гл. 25—28) Сократ произносит после того, как ему был вынесен обвинительный приговор; вторую (гл. 29—33)—после того, как он, в результате этого приговора, был присужден к смертной казни. Вся композиция „Апологии“ на редкость ясная и прозрачная; в этом отношении, как равно и по своим другим художественным достоинствам, непринужденной простоте, остроумному юмору, некоторые страницы „Апологии“ смело могут выдержать сравнение с такими перлами творчества Платона, как его „Пир“ или заключительная часть „Федона“.

Но не в художественных красотах „Апологии“ ее значение. Равным образом не представляет она и особого интереса для выяснения мировоззрения Платона. Ее интерес, заключается главным образом, вот в чем: представляет ли „Апология“, действительно, точное воспроизведение того, что говорил Сократ

в день суда над ним в афинском суде присяжных, гелиее, или же вся защитительная речь Сократа является продуктом личного, индивидуального творчества самого Платона, вовсе не считавшегося с тем, что Сократ говорил на суде.

Платон при разборе процесса присутствовал: об этом определенно говорится в „Апологии“ (34 А 38 В). Близко заинтересованный судьбою своего учителя, он, конечно, внимательно слушал его речь. Но не стоит труда доказывать, что он ее не только не записывал стенографически, но что он даже и вообще не заносил каких-либо письменных заметок: не до того было Платону, когда решался вопрос о жизни и смерти дорогого для него человека. Может быть, вернувшись домой после суда, Платон постарался по памяти восстановить то, что сказано было Сократом. Охотно допуская это, мы вместе с тем должны иметь в виду, что и в таком случае Платон — самое большее — мог восстановить в своей памяти сущность речи Сократа, главные пункты ее, но, разумеется, он не был в состоянии установить ее детали, тем менее ее внешнюю форму. А немедленно же после смерти Сократа его ученики, как известно, эмигрировали из Афин кто куда; некоторые из них, в том числе Платон, нашли прибежище в Мегарах, у Евклида. Лишь к концу 90-х годов IV века ученики Сократа снова получили возможность вернуться на родину, в Афины, чтобы там продолжать дело своего учителя.

Итак, уже по этим соображениям, приходится совершенно отказаться от мысли усматривать в „Апологии“ точное воспроизведение речи Сократа, произнесенной им на суде. Да и сама „Апология“, как на это многими и давно указано, содержит в себе некоторые пункты, препятствующие считать ее точным воспроизведением речи Сократа¹. Но из того обстоятельства, что „Апология“ не может и не должна быть признаваема точным воспроизведением речи Сократа, было бы неосторожно усматривать в ней свободную фантазию или художественную импровизацию Платона на тему: что говорил Сократ в свою защиту на суде. Против такого предположения говорят, главным образом, два соображения, правда, субъективного, но, тем не менее, достаточно доказательного характера. Первое: трудно допустить, чтобы Платон, благоговевший пред памятью своего учителя, решился вложить в его уста речь, в которой не было бы ничего Сократовского, а все было бы Платоновское, речь, к тому же, произнесенную Сократом едва ли не в самый важный и ответственный пред потомством момент его жизни. Второе: Платон писал „Апологию“ не для грядущих поколений, а для своих современников, многие из которых могли присутствовать и даже, наверное, присутствовали при разборе дела. Что подумали бы о Платоне все эти современники, если бы он выдал за речь Сократа такое произведение, в котором не было бы ничего от Сократа, а все было бы от Платона? Это был бы не панегирик Сократу, каковым является „Апология“, а надругательство над памятью о нем.

¹ Желая ознакомиться с этим найдет достаточно материала, подобранного, конечно, более или менее субъективно, в книгах Гомперца (Греческие мыслители, перевод с нем. Д. Жуковского, II, СПб. 1913, 73 сл.), Брунса (Ivo Bruns, Das literarische Porträt der Griechen, Berlin 1896, 207 сл.), Майера (H. Maier, Sokrates, sein Werk und seine geschichtliche Stellung, Tübingen 1913, 104 сл.) и в указываемом ниже „Рассуждении“ С. Н. Трубецкого.

Гомперц удачно охарактеризовал „Апологию“ словами „стилизованная правда“. Если не повсюду, то в значительной своей части „Апология“ построена на тех мыслях, которые Сократ развивал и старался доказать в своей защитительной речи. И Гомперц прав опять-таки, когда он говорит об „Апологии“, что это сочинение более Сократовское, нежели Платоновское. Мысли, лежащие в его основе — мысли Сократа; та форма, в которую воплотились эти мысли, принадлежат, надо полагать, всецело Платону. И было бы бесполезным трудом стремиться выделить в „Апологии“ те места, которые носят на себе отпечаток исключительно Сократовский, и те места, где в более или менее сильной степени сказывается отпечаток исключительно Платоновский. Учитель и ученик так тесно слились в „Апологии“, так сильно взаимно проникают один другого, что мы не в состоянии определенно указать, где кончается один и где начинается другой. Поэтому-то „Апология“ и представляет важное значение в качестве источника для воссоздания образа Сократа, с одной стороны, и как материал для характеристики отношения Платона к Сократу — с другой. Из всех произведений Платона „Апология“ имеет, быть может, наиболее интимный характер и содержит в себе ценные сведения для психологии как Сократа, так и Платона. Последний выступает в „Апологии“, с одной стороны, как насколько более правдивый и беспристрастный „историк“ Сократа, с другой стороны, как неподражаемый поэт-психолог. В „Апологии“ „Wahrheit“ и „Dichtung“ нашли для себя наиболее полное и художественное воплощение. Вот почему чтение ее производит такое неотразимое и чарующее впечатление: удивляешься глубине мыслей и тонкой диалектике Сократа, но, вместе с тем, восхищаешься и тем искусством, с каким великий философ-писатель воплотил, в небольшом произведении, всю „тайну души“ великого мудреца.

Если „Апология“ представляет собою „правдиво-стилизованное“ воспроизведение защитительной речи Сократа, то невольно возникает вопрос: какую цель преследовал Платон при ее составлении и почему он придал своему произведению форму именно „Апологии“, т. е. защитительной речи? По мнению Майера, „Апология“ это „манифест“, с которым Платон, от имени учеников Сократа, обращается к афинянам и в котором он громогласно объявляет себя и своих сотоварищей наследниками и преемниками Сократа, исполнителями его завещания, продолжателями его дела. Брунс называет „Апологию“ первую и одну из самых блестящих попыток, какие только знает история литературы, представить исчерпывающую характеристику Сократа. Ни опровергнуть этих соображений, ни подкрепить их какими-либо доводами вполне объективного характера мы не в состоянии. Зато мы должны обратить внимание читателя на следующие фактические данные.

В самой „Апологии“ замечательно то место в последней речи Сократа (39 С—D), где он говорит афинянам: после моей смерти вы примете такое возмездие, которое гораздо тяжелее того смертного приговора, который вы мне только что вынесли. Вы хотели избавиться от моих обличений, а у вас будет в грядущем больше обличителей. До сих пор я их сдерживал, а вы их не замечали. Теперь, после моей смерти, сдерживать их будет некому, и они будут для вас тем невыносимее, чем они моложе, и вы на них будете еще больше негодовать, чем негодовали на меня. Это — одно из тех мест „Апологии“, в ко-

торых основательно усматривают мысли не столько Сократа, сколько Платона: не в характере Сократа было провещать о том, что вызовет его смерть по отношению к нему самому и его памяти. Приведенное место из „Апологии“ яснее ясного указывает на ту борьбу, борьбу литературную, которая возгорелась вокруг имени Сократа несколько лет спустя после его смерти, когда политические страсти в Афинах, вызванные смертным приговором над Сократом, улеглись и когда к самой деятельности Сократа явилась возможность отнестись с большим спокойствием и хладнокровием; когда все то, что было вызвано деятельностью Сократа, и ее финал, перешли с афинских улиц и площадей в литературные кабинеты; одним словом, когда стала создаваться литература, связанная с именем Сократа, то, что древние называли „Сократовскими сочинениями“ (*Σωκρατικοί λόγοι*).

Эта литература, надо полагать, была достаточно и обильна, и оживленна. До нас дошли лишь кое-какие ее отзвуки. Приходится досадовать на то, что судьба не сохранила нам того „Обвинения Сократа“ (*Κατηγορία Σωκράτους*), или обвинительной речи против него, которая была составлена ритором Поликратом; в этом памфлете Поликрат старался подчеркнуть политическую неблагонадежность Сократа и его учеников. На основании некоторых намеков, содержащихся в различных произведениях, пробовали реконструировать утраченное произведение Поликрата¹. Насколько эта реконструкция удачна, не будем говорить; отметим только, что свое „Обвинение“ Поликрат вложил в уста главному обвинителю Сократа на суде, Аниту, следовательно, связал свое произведение с процессом Сократа².

Может быть, были в ходу и другие сочинения обличительного характера, в духе „Обвинения Сократа“ Поликрата. Сведений о них, однако, не дошло. Зато счастливый случай сохранил нам в числе произведений Ксенофонта трактат, носящий также заглавие „Апология Сократа“³. Эта „Апология“, не могущая идти в сравнение ни по содержанию, ни по форме с „Апологией“ Платона, представляет большую важность для уразумения истинного характера последней⁴. В первых строках „Апологии“ Ксенофонта последний говорит:

¹ См. J. Mesk, Wiener Studien, XXXII (1911), 56 сл.

² Из того обстоятельства, что Платон в „Апологии“ совершенно не считается с попыткой Поликрата дискредитировать политическую неблагонадежность Сократа, ученые заключают, что Платон, во время составления „Апологии“, не знал памфлета Поликрата. Может быть, так было и в действительности; возможно, однако, предполагать, что Платон в „Апологии“ не касался пункта о политической неблагонадежности Сократа потому, что, стремясь воспроизвести защитительную речь Сократа и не найдя в ней указанного пункта, он и не счел нужным включить все это в „Апологию“, а потому и игнорировал памфлет Поликрата, как построенный, главным образом, на разборе этого пункта.

³ Перевод ее помещен во II т. Соловьевского перевода Платона.

⁴ „Апология“ Ксенофонта представляет собою не речь Сократа, но рассказ о том, как вел себя Сократ до процесса, во время процесса и после процесса, причем весь материал распределяется на пять частей: 1) до процесса Сократ заявляет своим друзьям, что дальнейшая жизнь для него не имеет смысла (1—10); 2) пред судьями Сократ защищается от обвинения его в неблагонадежности (11—21); 3) поведение Сократа пред судьями (22—23); 4) рассуждения Сократа и его поведение после осуждения его (24—26); 5) Сократ после окончания процесса (27—34).

„Мне представляется достойным воспоминанием о Сократе также и то, каким образом он, будучи привлечен к суду, рассуждал о своей защитительной речи и о кончине жизни. Писали об этом и другие¹, и все коснулись его самовосхваления, откуда ясно, что Сократ и в действительности говорил таким образом. Но что он уже тогда считал, что смерть для него предпочтительнее жизни, этого они не объясняли, вследствие чего самовосхваление его кажется мало рассудительным“. Из этих слов видно, что сочинения, в типе „Апологии“ Платона и Ксенофонта, стали появляться, приблизительно одновременно, в Афинах далеко не в единственном числе. Все они имели одну главную цель: представить в истинном свете смысл деятельности и учения Сократа, все они разрабатывали эту тему в связи с его процессом, но каждое из них, вместе с тем, трактовало эту тему на свой лад. Об этом опять-таки мы можем заключить из слов Ксенофонта: „Я не старался о том, чтобы рассказать все бывшее на суде, и мне было достаточно показать, что Сократ более всего дорожил тем, чтобы не быть нечестивым по отношению к богам и не явиться несправедливым по отношению к людям“ (22).

„Апология“ Платона является одним из памятников этой „Сократовской литературы“. В противоположность „Апологии“ Ксенофонта, которая ставила ограниченную цель — обелить Сократа от взведенного на него обвинения в нечестии, „Апология“ Платона преследует более широкую задачу: дать почти исчерпывающую характеристику всей деятельности Сократа, чтобы тем самым снять с него тяжесть незаслуженных им обвинений, как колебателя религиозных основ, поскольку они признавались официальной религией, так и основ нравственного воспитания молодого поколения. В „Апологии“ Платона Сократ защищается, главным образом, против Мелета, хотя он и не был главным обвинителем Сократа на суде. Объясняется это; вероятно, тем, что обвинительная речь Мелета построена была на указанных пунктах обвинения. Главный обвинитель Сократа, Анит, как можно судить по памфлету Поликрата, обрушился в своей обвинительной речи на политическую неблагонадежность Сократа. Этого пункта обвинения Платон в „Апологии“ не касается почти вовсе; не касается потому, что защитить политическую благонадежность Сократа он поставил своею целью в другом своем произведении, в „Критоне“.

Но и в тех пределах, в каких Платон дает характеристику Сократа в „Апологии“, характеристика эта построена с удивительным художественным искусством. Платон рисует образ Сократа в „Апологии“ в постоянно меняющемся освещении. Как ни сильные переходы этого освещения, они едва заметны, так как, с внутренней стороны, они мотивированы в совершенстве. Сократ говорит всегда естественно, целесообразно, откровенно, без каких-либо уверток и зигзагов. Платон сумел сгруппировать отдельные стороны и черты личности Сократа так искусно, что они становятся для нас убедительно ясными. Вместе с тем смена настроений компонована таким образом, что постоянно чувствуется энергичный подъем от спокойного тона к высшему пафосу, чтобы, в конце концов, и этот пафос принял опять спокойный умиротворяющий тон. И прав Гомперц,

¹ В числе этих „других“, как правильно отмечено, имеется в виду, вероятно и Платон с его „Апологией“.

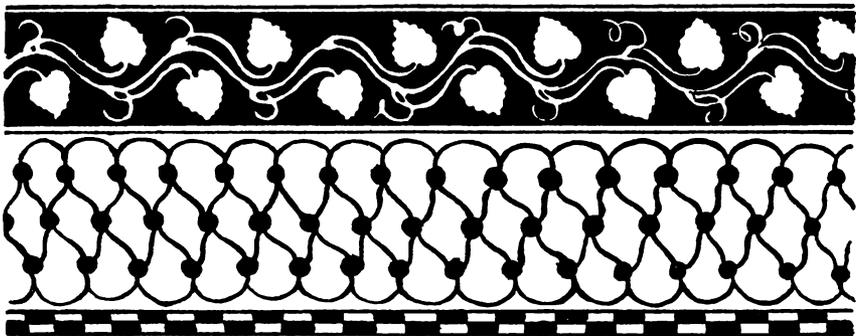
когда он называет „Апологию“ „светским молитвенником сильных и свободных умов“, одною „из самых мужественных книг мировой литературы, способной более, чем какая-либо другая книга вселить в сердца добродетель мужественного самообладания“.

Почти все ученые относят „Апологию“ к числу ранних произведений Платона; некоторые считают ее даже первым, по времени, произведением его ⁴. Если это так, то, надо сказать, Платон начал свое литературное поприще с таким блестящим совершенством, какое редко встречается в начинающем авторе. Строго говоря, внешних объективных данных для установления хронологии „Апологии“ нет; внутренние же соображения побуждают приурочивать время ее возникновения ко второй половине первого десятилетия IV века, когда получила свой расцвет, так называемая, Сократовская литература, в которой „Апологии“ Платона, по праву, должно быть уделено первое место.

Из специальных изданий „Апологии“ лучшие: комментированные издания J. Riddel'я (Oxford 1867) и M. Schanz'a (Leipzig 1893). Из переводов на русский язык следует отметить перевод М. С. Соловьева (II т. „Творений“ Платона), к которому С. Н. Трубецкой присоединил ценное „Рассуждение об Апологии“. — Мой перевод „Апологии“ редактирован Э. Л. Радловым.

С. Жебелев.

¹ Такого мнения держатся, между прочим, Grote, Plato, I, 196 сл.; Raeder, Platons philosophische Entwicklung, 92; C. Ritter, Platon, I, 368 сл.



Какое впечатление произвели на вас, афиняне, мои обвини- 17
тели, я не знаю¹. Что касается меня, то я, под влиянием их,
чуть было не забыл о самом себе: так убедительно они гово-
рили! Тем не менее, ничего истинного они, по правде сказать,
не сказали. Из обилия всего того, что они нагали, одно меня
удивило в особенности — это, когда они говорили, что вы должны
остерегаться, как бы я не ввел вас в обман, так как я силен
в ораторском искусстве. Не притти в смущение от того, что я B
тотчас же изобличу их на деле, лишь только окажется, что я в
малой степени не силен в ораторском искусстве, — вот это по-
казалось мне с их стороны наиболее бесстыдным, — разве
только, если они не называют сильным в ораторском искусстве
того, кто говорит правду. Если они это имеют в виду, то я го-
тов согласиться, что я — оратор не по ним. Они, как говорю я, ни-
чего истинного не сказали, или сказали только кое-какую правду,
от меня же вы услышите всю правду. Впрочем, клянусь Зев-
сом, афиняне, вы не услышите от меня прикрашенной речи, как
их речь, речи, изукрашенной риторическими оборотами и эф- C
фектными словами; вы услышите речь простую, составленную
из первых попавшихся выражений. Ведь я-то верю, что то, что я
говорю, — правда, и никто из вас пусть не ожидает ничего дру-
гого. Да и неприлично было бы мне, в таком возрасте², высту-
пать пред вами, подобно отроку, с придуманною речью. И вот,
афиняне, я очень настойчиво прошу вас о следующем. Если вы
услышите, что я защищаюсь теми же доводами, какие привык
приводить и на площади у столов менял, где многие из вас слы-
шали меня, и в других местах, не удивляйтесь этому, не подни-

Д майте шума из-за этого ³. Дело-то обстоит так: теперь, в первый раз, пришел я в суд, имея 70 лет от роду; здешний язык является для меня совершенно чужим. Подобно тому, как вы, конечно, извинили бы меня, если бы я, будучи, действительно, иноземцем, стал говорить на том языке и пользуясь теми приемами
18 речи, в каких вырос, так и теперь я обращаюсь к вам с такою, думается мне, справедливою просьбою — дозволить мне пользоваться привычным для меня способом выражения — будь он хороший, будь он плохой — смотреть и обращать внимание только на одно: говорю ли я правду, или нет. Ведь в этом именно и состоит достоинство судьи, достоинство же оратора состоит в том, чтобы говорить правду.

2.

Справедливо будет, афиняне, если сперва я поведу защиту против тех ложных обвинений, которые возведены были на меня прежде всего, и против моих прежних обвинителей, а затем, против тех, которые были возведены на меня позднее, и против
В моих позднейших обвинителей. Ведь много моих обвинителей прошло пред вами, и с давних уже пор, в течение многих лет. Ничего истинного они ни говорили, но их я опасаюсь больше, чем Анита, и его товарищей ⁴. Правда, и эти обвинители сильные, но те еще сильнее! Большинство из вас они стали привлекать на свою сторону, когда вы были детьми, действовали на вас своими убеждениями и выставляли против меня ни мало не основанное на истине обвинение. Они говорили: существует некий Сократ, мудрый муж ⁵; его заботят небесные явления ⁶; он исследует все, что под землею, и „более слабый довод делает более
С сильным“ ⁷. Вот эти-то люди, распустившие обо мне такую молву, и являются сильными моими обвинителями: прислушивающиеся к ним полагают, что тот, кто исследует все это, и богов не признаёт. К тому же, таких обвинителей много, выступают они со своими обвинениями уже с давних пор, да и говорили вам все это в таком вашем возрасте, когда вы всего более склонны были относиться с доверием к ним, — когда некоторые из вас были детьми и отроками, — причем обвиняли прямо-таки заочно, когда никто не выступал на защиту обвиняемого.

Всего же более несуразно то, что я не могу знать их имен, указать на них — разве только на кое-кого из сочинителей комедий⁸. Те же обвинители, которые старались воздействовать на вас из чувства зависти ко мне, прибегая к клевете — есть и такие, которые, убедившись сами, старались убедить в этом других, — все эти обвинители самые для меня недоступные: невозможно никого из них ни вызвать в суд, ни изобличить; приходится просто сражаться как бы с теньями, защищаться и изобличать, когда никто не возражает. Итак, согласитесь и вы, как я говорю, с тем, что у меня есть два рода обвинителей: одни недавно выступили с обвинениями против меня, другие, о которых я говорил, — давно, и признайте, что сначала я должен защититься против этих последних. Дело в том, что и вы слышали их обвинения раньше, и обвинения эти были куда сильнее, чем обвинение вот этих, моих последних, обвинителей. D
E

Хорошо! Нужно, следовательно, афиняне, защищаться и постараться истребить ту клевету, которая держится среди вас долгое время, в столь короткий срок⁹. Желал бы я, чтобы это так и случилось — если это лучше и для вас и для меня — и чтобы защита моя была, до известной степени, успешной. Думаю, однако, что это трудно, и для меня вовсе не тайна, что значит все это предприятие. Впрочем, пусть будет на это милость божия, а закону нужно повиноваться и защитительную речь произносить. 19

3.

Обратимся сначала к обвинению, которое породило ту клевету на меня, основываясь на которой и Мелет подал на меня свою жалобу. Так! Что утверждали клеветники, клеветавшие на меня? Следует привести жалобу их, как будто они были настоящими обвинителями¹⁰: „Сократ погрешает и переступает меру должного, исследуя то, что под землею, и то, что в небесах, делая более слабый довод более ильным и научая тому же самому других“. В таком роде обвинение. Все это вы, ведь, видели и сами в комедии Аристофана: там какой-то Сократ носится туда и сюда, говоря, что он гуляет по воздуху, несет много всякой иной чепухи, в которой я решительно ничего не понимаю¹¹. Говорю B
C

я все это не в укор подобного рода знанию, коль скоро кто-либо в нем мудр — как бы не стал меня Мелет еще в этом обвинять! — нет, я указываю на все это, афиняне, потому, что оно D вовсе меня не касается. Как на свидетелей в данном случае, я могу сослаться на большинство из вас, и прошу тех из вас обсудить это дело между собою, которые хоть раз слышали мои рассуждения; а таковых среди вас немало. Итак, спросите друг у друга: слышал ли когда-нибудь кто-либо из вас, чтобы я рассуждал хотя сколько-нибудь о подобных вещах? Тогда вы узнаете, что в таком же роде и все прочее, что говорит обо мне большинство.

4.

Разумеется, ничего подобного нет! Равным образом, если вы от кого слышали, будто я пытаюсь воспитывать людей и требую E за это деньги, то и это неправда. Конечно, я считаю прекрасным, если кто в состоянии заниматься воспитанием людей, как, например, Горгий Леонтинец, Продик с Кеоса, Гиппий из Элиды¹². Каждый из них волен разъезжать по всем городам и убеждать молодых людей — которые могут бесплатно слушать любого из 20 своих сограждан — оставлять общение с последними, чтобы вступить в общение с ним, платить ему деньги, да еще сверх того и благодарить его. Впрочем я узнал что проживает здесь еще и другой мудрый муж, из Пароса. Встретился я как-то с человеком, который переплатил софистам денег больше, чем все прочие, взятые вместе, с Каллием, сыном Гиппоника, а у него двое сыновей. „Каллий“, спрашиваю я его: „если бы твои сыновья были жеребятами или телятами, мы должны были бы взять и нанять для них такого смотрителя, который сделал бы их пре- B красными и хорошими в соответствующей добродетели, и смотритель этот был бы из числа конюхов, или из числа земледельцев; теперь же, так как твои сыновья — люди, какого смотрителя для них ты предполагаешь взять? кто знаток в подобной добродетели — человеческой и государственной? Я думаю, ты, имея сыновей, подумал об этом? Есть такой, или нет?“ „Конечно, есть“, отвечал Каллий. „Кто он такой“, спрашиваю я: „откуда, сколько берет за обучение?“ „Евен из Пароса, Сократ“,

отвечал Каллий: „берет пять мин¹³“. И я воздал хвалу этому Евену, коль скоро он, действительно, обладает таким искусством и за такую скромную плату ему обучает. Я и сам, пожалуй, стал бы гордиться и кичиться, если бы знал все это. Но... не знаю я этого искусства, афиняне!

5.

Быть может, кто-нибудь из вас возразит: „Но, Сократ, в чем же состоит твое занятие? Откуда появились эти клеветы на тебя? Ведь, разумеется само собою, если бы ты не занимался ничем особенным, это и не повлекло бы за собою такой молвы, таких разговоров; значит, ты делал что-то такое, чего не делает большинство. Объясни же нам, что это такое, чтобы нам не постановлять насчет тебя опрометчивого решения“. Тот, кто так говорит, думается мне, говорит правильно; и я постараюсь вам показать, что именно создало мне имя и навлекло на меня дурную славу. Слушайте же! Может быть, кому из вас покажется, будто я шучу, так будьте уверены, что я скажу вам *сущую* правду.

Я, афиняне, приобрел себе имя исключительно благодаря некоей мудрости. Что это за мудрость такая? Да уже, вероятно, человеческая мудрость; в этой мудрости я, сдается мне, в самом деле мудр. Те же, о которых я только что говорил, пожалуй, мудры какою-то мудростью сверхчеловеческою или я уже не знаю, как назвать ее; я, во всяком случае, этой мудрости не понимаю, а кто утверждает, будто понимаю, тот лжет и говорит это с целью оклеветать меня. Не шумите, афиняне, даже если вам покажется, что я хвастаюсь: ведь не свои слова буду я теперь говорить, но сошлусь на лицо, достойное, с вашей точки зрения, доверия. В свидетели моей мудрости, если это мудрость по присущим ей свойствам, я приведу вам... бога, что в Дельфах.

Херефонта вы, вероятно, знаете. Он был с молодости моим приятелем, был приверженцем большинства из вас, разделял вместе с вами изгнание и вернулся из него вместе с вами¹⁴. Знаете вы и то, каков Херефонт был, с какою пылкостью он за все принимался. И вот, прибыв однажды в Дельфы, он дерзнул спросить оракул о следующем — я уже предупреждал вас, не

шумите, — он спросил у бога: есть ли кто мудрее меня? Пифия дала ответ: никого нет мудрее¹⁵. Все это вам подтвердит его брат, так как самого Херефонта нет в живых.

6

В Сообразите, чего ради я все это говорю! Я хочу вам объяснить, откуда произошла клевета на меня.

Услышав изречение оракула, я стал размышлять про себя: „что говорит бог, что он подразумевает? Ведь я, ни много, ни мало, не признаю себя мудрым. Что же бог хочет сказать, будто я самый мудрый? Ведь не лжет же он, разумеется: это ему не полагается“. И долго я недоумевал, что бог имеет в виду. Затем, с большим трудом, я обратился к такому расследованию оракула. Пошел я к одному из тех людей, которые казались мне мудрыми, чтобы вот тут-то и опровергнуть прорицание и объявить оракулу: „Вот кто мудрее меня, а ты говорил, что это я“. Стал я присматриваться к этому человеку — называть его по имени мне вовсе не нужно; при наблюдении за ним я усвоил себе кое-что — он, принадлежал к числу государственных деятелей, афиняне, и, беседуя с ним, решил, что этот человек кажется мудрым многим другим, а в особенности себе самому, но что на самом деле он не мудр. После того я пытался доказать ему, что он только думал, будто он мудр, а что на самом деле он не мудр. Все это возбудило в этом человеке и во многих, кто при D этом присутствовал, ко мне ненависть. Возвращаясь к себе, я стал соображать, что я мудрее этого человека, так как, пожалуй, ни он, ни я не знаем ничего прекрасного и доброго, но он, не зная его, думает, будто что-то знает, я же, раз уже не знаю, то и не думаю, будто знаю. Во всяком случае, на кое-какую малость, я, повидимому, мудрее его, потому что чего не знаю, о том и не думаю, будто знаю. От него я пошел к другому из числа тех, которые казались мне мудрее того, и пришел к такому E же выводу, что и раньше. И в данном случае я возбудил к себе неприязнь и в нем, и во многих других.

7

После этого я стал ходить уже по порядку. С горечью и ужасом замечал я, что становлюсь ненавистным; все же, мне казалось необходимым выше всего ставить дело бога. Чтобы уразуметь, что означает оракул, нужно — решил я — ходить ко всем, кому только кажется, что он что-нибудь знает. И, клянусь собакой, афиняне — нужно ли вам говорить правду — клянусь, я испытал тут нечто такое: те, кто пользуются наибольшею известностью, 22 показались мне, когда я, согласно указанию бога, стал исследовать их, почти что людьми самыми ограниченными, другие же, которые, казалось, были послабее, — людьми более пригодными к тому, чтобы быть рассудительными. Но нужно вам рассказать о моих странствованиях; я тут словно труд какой-то нес, и все это для того, чтобы оракул и в моих глазах оказался ниспровергнутым.

Итак, после государственных деятелей обратился я к поэтам, В и к трагическим, и к дифирамбическим, и ко всем прочим, чтобы там с поличным уличить себя в том, что я невежественнее их. Выбирая те из их произведений, которые, казалось мне, наиболее всего были ими обработаны, я расспрашивал поэтов, что они хотели в своих произведениях выразить, чтобы вместе с тем кое-чему и научиться отсюда. Стыдно мне сказать вам правду, а все-таки должно сказать ее. Говоря коротко, чуть ли не все присутствующие здесь могли бы лучше объяснить то, что сами поэты сочинили. Таким образом узнал я, в короткое время, и относительно поэтов то, что то, что они сочиняют, не мудростью сочиняют они, а благодаря какой-то прирожденной способности, С в состоянии вдохновения, подобно вдохновенным богом прорицателям и предсказателям: ведь и последние говорят много прекрасного, но не ведают ничего того, о чем говорят. Такое же состояние, показалось мне, испытывают и поэты; но, вместе с тем, я заметил, что они, благодаря своему поэтическому дарованию, считали себя мудрейшими из людей и во всем прочем, чего на самом деле не было. Ушел я и от них с мыслью, что превосхожу их тем же, чем превосхожу и государственных деятелей.

8

Под конец пришел я к ремесленникам. Сам-то я уже сознавал, что ничего, так сказать, не знаю, ну а об этих я знал, что найду их знающими много прекрасного. И в этом я не обманулся: они, действительно, знали то, чего я не знал, и в этом отношении были мудрее меня. Но, афиняне, показалось мне, что они грешили тем же, чем и поэты, и славные художники: каждый, прекрасно владея своим ремеслом, считал себя наимудрейшим и во всем прочем, самом важном, и эта-то их ошибка заслоняла собою *ту* их мудрость. Таким образом, я стал вопрошать себя именем оракула: предпочел ли бы я оставаться таким, как есть, не будучи ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством, или же, как они, быть и тем, и другим. И я ответил самому себе и оракулу, что для меня полезно оставаться таким, как есть.

9

От этого самого исследования, афиняне, много скопилось надо мною ненависти, притом самой тягостной и обременительной, а от этого пошла и большая клевета. С другой стороны, начали называть меня мудрецом. Дело в том, что присутствующие постоянно думают, будто я сам мудр в том, в чем я изобличаю другого. А на самом-то деле мудрым оказывается бог, и прорицанием своим он указывает на то, что человеческая мудрость дешево стоит, ничего не стоит. И, кажется, он не имеет в виду тут Сократа, а только воспользовался моим именем примера ради, все равно как если бы он сказал: „О люди, тот из вас мудрее всех, кто, подобно Сократу, познал, что он, поистине, ничего не стоит в смысле мудрости“. Я еще и посейчас, обходя разные места, ищу и испытываю, согласно оракулу бога, не сочту ли я кого, из горожан и иноземцев, мудрым. И всякий раз, как этого не окажется, спешу на помощь богу и доказываю такому человеку, что он не мудр. И от этого недосуга не было у меня досуга сделать что-либо достойное упоминания ни для дел государственных, ни для дел домашних, а из-за этого служения богу обретаюсь я в величайшей бедности.

10

Ко всему этому сопровождающие меня, по собственному побуждению, молодые люди — у них досуга всего больше; это сыновья богатейших граждан — с удовольствием слушают, как я испытываю людей, и часто сами, подражая мне, пробуют испытывать других. И, думаю, они встречают большое изобилие людей, думающих, будто они что-то знают, а на самом деле знающих или немного, или ничего не знающих. От этого те, которых молодые люди испытывают, сердятся не на них, а на меня, и говорят: появился какой-то негодяй Сократ и развращает молодежь. А если спросить их, что Сократ делает, чему он учит, они не знают, что сказать, им неизвестно это; а чтобы не показалось, будто они в затруднении, они говорят то, что обыкновенно говорится о всех любителях мудрости, как то: „[учит тому, что] в небесах и под землею“, „богов не признает“, „более слабый довод делает более сильным“. Сказать правду, думается мне, им не хочется быть избалованными в том, что они представляются, будто что-то знают, а на самом деле ничего не знают. В виду того, что они, сдается мне, люди честолюбивые, энергичные, и их много, и говорят они обо мне с настойчивою убедительностью, они и заполнили ваши уши давнишнюю сильною клеветою на меня. От этого-то и напал на меня Мелет, Анит и Ликон; Мелет — негодюя за поэтов, Анит — за ремесленников и государственных деятелей, Ликон — за ораторов¹⁶. По- 24 этому-то, как я и говорил в начале, я был бы удивлен, если бы оказался в состоянии опровергнуть пред вами эту столь великую клевету в столь короткий срок.

Вот вам, афиняне, вся правда; я говорил вам, ничего не скрывая ни малого, ни великого, ни о чем не умалчивая. Хотя я почти уверен, что тем самым я становлюсь ненавистным, но это-то и служит доказательством того, что я говорю правду, что в этом-то и состоит клевета на меня, и что таковы ее причины. И когда бы вы ни стали исследовать все это, теперь ли, или впоследствии, вы найдете, что это так. В

11

Касательно того, в чем обвиняют меня мои первые обвинители, этой моей защиты пусть будет для вас достаточно. После этого я попытаюсь защититься против Мелета, доброго патриота, как он говорит, и против следующих за ним обвинителей. Снова возьмем их обвинение, как будто бы это были другие обвинители. Оно гласит так: Сократ, утверждает Мелет, виновен в том, что развращает молодежь, и тех богов, которых признает государство, не признаёт, а признаёт другие новые божества. Таково обвинение. Разберем это обвинение по пунктам.

Мелет говорит, что я виновен в развращении молодежи. Я же, афиняне, утверждаю, что виновен Мелет, потому что он шутит серьезными вещами, легкомысленно привлекает людей к суду, делая вид, будто он серьезно заботится о вещах, до которых ему никогда не было никакого дела. Что это так, я постараюсь доказать и вам.

12

Выходи-ка сюда, Мелет! Скажи мне: не правда ли, для тебя D важнее всего, чтобы молодые люди были как можно лучше?

— Да.

— Скажи же вот этим людям: кто делает их лучшими? Ясно, ты знаешь это — ведь ты заботишься об этом. Развратителя ты нашел, как говоришь, в моем лице, привлек его сюда и обвиняешь. Ну, назови того, кто делает молодых людей лучшими, открой им, кто он такой! Вот видишь, Мелет, ты молчишь, не знаешь, что сказать. И тебе не стыдно? И не кажется ли тебе это достаточным доказательством того, о чем я говорил — тебе до этого нет никакого дела? Но, добрейший, скажи же, кто делает молодых людей лучшими?

— Законы.

E — Не об этом я тебя спрашиваю, любезнейший, а кто тот человек, который, прежде всего знает вот эти самые законы?

— А вот, Сократ, эти судьи.

— Как ты говоришь, Мелет? Они-то и способны воспитывать молодых людей и делать их лучшими?

— Конечно.

— Как? Все ли они? Или одни — да, другие — нет?

— Все.

— Хорошо ты, клянусь Герою, говоришь! Какое изобилие лиц, приносящих пользу! Ну а дальше? Слушатели делают молодых людей лучшими, или нет ¹⁷?

— И они тоже.

— Так. А члены совета?

— И члены совета ¹⁸.

— Но в таком случае, Мелет, те, которые составляют народное собрание, т. е. члены народного собрания, не развращают ли они молодежь? Или и они все делают ее лучшей?

— И они.

— Следовательно, все, повидимому, афиняне делают молодых людей прекрасными и хорошими, кроме меня; один только я их развращаю. Так?

— Это-то я и утверждаю.

— На какое же несчастье ты меня обрек! Но ответь-ка мне еще: кажется ли тебе, что так же бывает и с лошадьми? Что же, все люди делают их лучшими, а один кто-то их портит? Или, наоборот, один, или очень немногие способны делать их лучшими — именно конюхи, а большинство, когда оно бывает при лошадях и пользуется ими, портит их? Не бывает ли так, Мелет, и с лошадьми и со всеми прочими животными? Во всяком случае, разумеется, бывает — все равно, согласны ли вы тут с Анитом или несогласны. Ведь было бы большое счастье для молодых людей, если бы их развращал только один человек, а все прочие приносили бы им пользу. Впрочем, Мелет, ты достаточно доказал, что никогда-то ты не заботился о молодых людях, и ты ясно ^С выказываешь свое к этому делу небрежение. Тебе нет никакого дела до того, из-за чего ты привлек меня к суду!

А вот что еще скажи нам, ради Зевса, Мелет: что лучше? Жить ли с честными гражданами, или с худыми? Ну, дружище,

отвечай! Ведь я задаю тебе вовсе нетрудный вопрос. Не приносят ли худые какого-либо зла тем, кто с ними больше всего имеет дело, а добрые — какого-либо добра?

— Конечно.

D — Найдется ли тот, кто захотел-бы получить от общающихся с ним скорее вред, чем пользу? Отвечай, добрейший! Ведь и закон повелевает отвечать. Найдется ли такой, который пожелал бы получать вред?

— Конечно, нет.

— Ну, вот, а меня привлекаешь ты сюда, как человека, развращающего молодых людей и делающего их худшими намеренно или не намеренно?

— Конечно, намеренно.

— Как же это так, Мелет? Ты, такой молодой, оказался настолько мудрее меня, старика, что понял, что злые причиняют
E всегда какое-либо зло, а добрые — добро, тем, кто всего ближе им, я же дошел до такой слепоты, что не знаю даже и того, что если я сделаю кого-либо из общающихся со мною негодным, то рискую получить от него какое-либо зло, и это-то столь великое зло я, как ты утверждаешь, делаю намеренно? Ты меня Мелет, не уверишь в этом, да, я думаю, и никто другой из людей
26 этому не поверит. Но я или не развращаю, или, если развращаю, то не намеренно, так что ты в обоих случаях лжешь. Если же я развращаю не намеренно, то за такие не преднамеренные проступки, по закону, не дозволяется привлекать в суд, а следует взять этого человека и частным образом наставлять его и вразумлять. Ведь, ясно, что если я пойму это, я перестану делать то, что делаю не преднамеренно. Ты же уклонялся от общения со мною и не хотел наставлять меня, а привлек сюда, куда, по закону, следует привлекать тех, кто нуждается в наказании, а не в наставлении.

Но, афиняне, уже ясно становится, что, как я и говорил,
B Мелету до всего этого никогда не было ровно никакого дела. Все-таки, Мелет, объясни нам, как, согласно твоему утверждению, я развращаю молодежь? Не ясно ли, что по обвинению,

которое ты предъявил ко мне, я учу ее не признавать тех богов, которые признает государство, а признавать другие новые божества? Не это ли ты имеешь в виду, говоря, что я развращаю своим учением?

— Именно это я имею в виду.

— Ради них, Мелет, ради этих самых богов, о которых теперь идет речь, выскажись еще яснее и мне, и вот этим мужам. Дело в том, что я не могу понять, утверждаешь ли ты, что я учу признавать существование некоторых богов, следовательно, и сам признаю существование богов и не являюсь всецело безбожником и не в этом я виновен, или, что я учу признавать не тех богов, которых признает государство, но других, или же ты утверждаешь, что я вообще совершенно не признаю богов и других учу этому же.

— Я утверждаю, что ты совершенно не признаешь богов.

— Удивительный ты человек, Мелет! К чему ты это говоришь? Неужели я, как все прочие люди, не признаю богами ни солнце, ни луну?

— Клянусь Зевсом, судьи, он утверждает, что солнце—камень, луна — земля.

— Не думаешь ли ты, друг мой Мелет, что обвиняешь Анаксагора¹⁹? Или ты до такой степени относишься с презрением к судьям и считаешь их настолько несведущими в литературе, что они и не знают, что книги Анаксагора Клазоменского кишат подобными рассуждениями? Молодые же люди будто бы узнают от меня то, что можно иной раз узнать, заплатив за это не больше драхмы, из оркестры, чтобы затем подсмеиваться над Сократом, если бы он стал приписывать себе все эти мысли, да к тому же еще столь нелепые²⁰? Но, ради Зевса, неужели я тебе таким-то вот и кажусь? Не признаю существования ни одного бога?

— Клянусь Зевсом, то-есть вот несколько!

— Невероятно это, Мелет, да и сам ты, мне кажется, этому не веришь. Мне, афиняне, представляется этот человек большим наглецом и озорником; да и самое обвинение это он предъявил ко мне просто по какой-то наглости, озорству, из юношеского легкомыслия. Похоже на то, что он сочинил как бы загадку и пробует: „Догадается ли Сократ, мудрец, что я шучу и сам себе

противоречу, или же я проведу его и всех прочих слушателей“? В самом деле, мне кажется, он сам себе противоречит в своем обвинении, все равно, как если бы он сказал: „Сократ виновен не в том, что он не признаёт богов, а в том, что он признаёт богов“. Да это шутник какой-то!

15

Поразмыслите вместе со мною, так ли он это говорит, как мне кажется. Ты, Мелет, отвечай нам! Вы же помните о том, о чем я просил вас в начале — не шуметь, если я буду говорить привычным мне образом.

— Есть ли, Мелет, человек, который дела людские признавал бы, а людей не признавал бы? Пусть он ответит, судьи, и не говорит то одно, то другое. Существует ли такой человек, который лошадей не признавал бы, а лошадиные дела признавал бы? Или: флейтистов не признавал бы, а дела флейтистские признавал бы? Нет такого человека, наилучший из мужей! Если не хочешь отвечать ты, я отвечу тебе и вот этим, всем прочим. Ну, а на следующее отвечай ты: есть ли человек, который демонические дела признавал бы, а демонов не признавал?

— Нет!

— Как одолжил ты меня, что, наконец, ответил, вынужденный к тому вот ими! Итак, ты утверждаешь, что демоническое я признаю и учу этому—будь это новое, или старое, все равно; все-таки, по твоим словам, демоническое я признаю. Это ты подтвердил и клятвою в обвинительном акте. Если же я признаю демоническое, то, разумеется, из этого неизбежно следует, я признаю и демонов. Не так ли? Конечно, так. Полагаю, что ты согласен, раз не отвечаешь. А демонов-то разве мы не считаем богами, или детьми богов? Да, или нет?

— Конечно, да.

— Итак, если демонов я признаю, как ты утверждаешь, если демоны суть своего рода боги, то выходит и то, что я утверждаю — что ты задаешь загадки и шутишь, утверждая, что я не признаю богов и, с другой стороны, наоборот, что я признаю богов, так как демонов я, во всяком случае, признаю. Если же,

в свою очередь, демоны суть нечто в роде побочных детей богов, родившихся от нимф, или от кого другого, как об этом и говорят предания, то какой же человек, детей богов станет признавать, а богов не станет признавать? Это было бы так же нелепо, как если бы кто стал признавать, что существуют мулы— дети лошадей и ослов, лошадей же и ослов не признавал бы. Нет, Мелет, ты подал на меня это обвинение не иначе, как с целью произвести опыт надо мною, или же ты затруднялся, какое доподлинное обвинение предъявить ко мне. Но чтобы ты мог убедить какого-либо человека, обладающего хотя бы малою долею разума, в том, что можно признавать и демоническое и божественное и в то же время не признавать ни демонов, ни богов, ни героев, — это уже никак невозможно. E 28

16

Впрочем, афиняне, что я не виновен в том, в чем обвиняет меня Мелет, это, кажется мне, не требует обстоятельной защиты. Достаточно и того, что сказано. А то, о чем я говорил раньше, именно, что я возбудил против себя сильную ненависть со стороны многих, это, будьте уверены, сущая правда. И это-то и губит меня, если вообще я погибну; меня губит не Мелет, не Анит, но клевета и недоброжелательность со стороны большинства. Это уже погубило много других хороших людей; думаю, что и впредь еще погубит. Нечего опасаться, что дело на мне остановится. B

Быть может, кто-нибудь скажет: „И не стыдно тебе, Сократ, что ты делал такое дело, из-за которого тебе придется, пожалуй, теперь умереть“? На это я считал бы себя в праве возразить так: „Нехорошо ты это говоришь, мой милый; неужели ты думаешь, что тот человек, который приносит хотя капельку пользы, должен считаться с тем, что он рискует жизнью, а не обращать внимания во всем, что он делает, лишь на то, исполняет ли он дела справедливые, или несправедливые, дела хорошего человека, или дурного. Плохими были бы, согласно твоему рассуждению, все полубоги, окончившие жизнь свою под Троей, в том числе и сын Фетиды, который из страха сделать что-либо C

постыдное, отнесся с таким презрением к опасности, когда мать его — а она была богиня — видя, как он горит желанием убить Гектора, сказала ему, примерно, так, я думаю: „Дитя мое, если ты отомстишь за убийство приятеля твоего, Патрокла, и убьешь Гектора, сам умрешь, «тотчас за Гектором и твоя участь готова»“. Он, услышав это, презрел опасность смерти, гораздо больше убоился оставаться в живых, будучи дурным, и не отомстить за своих друзей, и сказал: «Тотчас бы мне умереть, наказавши виновного, лишь бы не оставаться здесь, у кривых кораблей, предметом насмешек, бременем земли». Или ты думаешь, что он заботился при этом об опасности и смерти“? ²¹

Так, афиняне, бывает поистине: где кто встал в строю, решив, что это для него самое лучшее место, или поставлен туда начальником, там, сдается мне, надлежит ему и оставаться и подвергаться опасности, не считаясь ни с чем — кроме позора — ни со смертью, ни с чем другим.

17

И было бы ужасно, афиняне, с моей стороны, если бы я, оставаясь на посту, на который назначили меня избранные вами начальники, что быначальствовать над мною — и при Потидее, и при Амфиполе, и у Делия — оставаясь там, куда назначили меня они, в числе других, и где я подвергался опасности умереть ²², — было бы ужасно, если бы теперь, когда назначил меня бог для того, чтобы, как я думал и предполагал, жить, занимаясь философией и испытанием самого себя и всех прочих, если бы теперь я, испугавшись смерти или чего бы то ни было, оставил строй. Это было бы ужасно, и тогда, поистине, всякий был бы в праве меня привлечь к суду за то, что я не признаю существования богов, не повинуюсь оракулу, боюсь смерти и кажусь мудрым, не будучи таковым. Ведь бояться смерти — не что иное, как казаться мудрым, не будучи таковым, так как „казаться“, значит знать того, чего не знаешь. Никто не знает, что такое смерть, не является ли она для человека величайшим из всех благ, между тем ее бояться, как будто хорошо знают, что она есть величайшее зло. И как же не невежество, да еще самое за-

зорное — думать, будто знаешь то, чего не знаешь? В этом отношении я, пожалуй, отличаюсь от большинства людей и если бы я хотел сказать кому, что я мудрее его, то сказал бы, что мудрее тем, что, не зная достаточно того, что в Преисподней, так и думаю, что этого не знаю. А вот поступать несправедливо, не повиноваться лучшему — будь он бог или человек, — это, я знаю, что дурно и постыдно. Никогда не буду я бояться, не буду избегать того, о чем не знаю, добро ли оно, сравнительно с тем злом, о котором я знаю, что это — зло. Таким образом, даже если вы меня теперь отпустите, не поверив Аниту, утвержда-
вшему, что или вообще не следовало мне сюда являться, или, раз уже я явился, то нельзя не приговорить меня к смерти, — Аниту, говорившему, что если я избегну наказания, то сыновья ваши, занимаясь тем, чему учит Сократ, все в конце развратятся, — если вы отпустите меня и при этом скажете: „Сократ, на этот раз мы не поверим Аниту и отпускаем тебя с тем, однако, условием, чтобы ты более не проводил время в этом исследовании и не занимался философией; если же впредь будешь уличен на этом деле, то умрешь“ — если бы вы отпу-
стили меня на этом условии, я сказал бы вам: „Я вас, афиняне, люблю и обожаю, но повиноваться буду более богу, чем вам, и пока дышу и в силах, не перестану заниматься философией, всегда уговаривать и указывать каждому из вас, кого встречу, и говорить при этом то, что обыкновенно говорю: „О лучший из мужей, гражданин Афин, города самого большого и самого славного своею мудростью и силою. О деньгах тебе не стыдно заботиться, чтобы их было у тебя, как можно больше, а о славе и о почете, о рассудительности, истине и о душе, чтобы она
была как можно лучше, ты не заботишься и не печешься“? И если кто из вас будет спорить и утверждать, что он заботится, я его сразу не отпущу и не уйду от него, но буду его расспрашивать, испытывать, изобличать, и если покажется мне, что он не обладает добродетелью, а только говорит, что обладает, я буду поносить его за то, что самое дорогое он ценит дешевле всего, а то, что поплоче, ценит дороже. Так я буду поступать со всяким, кого только встречу, и с молодым и со старым, и с иностранцем, и с горожанином, в особенности, с горожанами, поскольку вы ближе мне по происхождению. Ибо так мне по-
*

велевает бог — будьте уверены в этом, и, я думаю, что для вас, во всем городе, нет большего блага, как это мое служение богу. Ведь я только и делаю то, что хожу и убеждаю вас, и
В молодых и старых, не заботиться ни о теле, ни о деньгах прежде всего и так сильно, как заботиться о душе, чтобы она была, как можно лучше. И говорю я вам: „Не от денег добродетель рождается, а от добродетели и деньги, и все прочие блага для людей и в частной жизни и в общественной“. Если я такими словами развращаю молодых людей, эти слова были бы вредны. А кто утверждает, что я говорю не это, а другое, тот говорит вздор. И я мог бы сказать вам сверх того: „Афиняне, послушаетесь ли вы Анита, или не послушаетесь, отпустите меня, или не отпустите, — поступать иначе, чем я поступаю, я
С не буду, даже если бы мне предстояло умереть десять раз.“

18

Не шумите, афиняне! Исполните то, о чем я просил вас — не шуметь по поводу того, что я говорю, а слушать! Ведь, я думаю, что, слушая меня, вы извлечете себе пользу. Я намерен сказать вам нечто такое, по поводу чего вы, пожалуй, поднимете крик. Только никоим образом не делайте этого!

Будьте уверены: если вы меня убьете, такого, каков я есть, вы больше повредите не мне, а самим себе! Мне-то, ведь, ни мало не принесут вреда ни Мелет, ни Анит — да они и не смогут сделать
D этого, так как, я думаю, не полагается худшему наносить вред лучшему. Конечно, они могут и убить меня, подвергнуть изгнанию, лишить гражданских прав. Но это они, и, пожалуй, еще и кто-либо иной, считают за великое зло, я же не считаю, а считаю гораздо большим злом поступать так, как они теперь поступают, стремясь несправедливо осудить человека на смерть.

Итак, афиняне, я защищаюсь теперь вовсе не ради себя, как может кто-либо подумать, но ради вас, чтобы вы, вынося мне обвинительный приговор, не прегресли в отношении дан-
E ного вам от бога дара. В самом деле: если вы меня убьете, нелегко вам будет найти другого такого человека, который прямо-таки — хотя и слишком смешно это сказать — приставлен

богом к государству, словно как к коню, большому и благородному, но слишком ленивому из-за своей тучности, нуждающемуся в том, чтобы его подстрекали шпорой. Между тем, меня, как я есть, бог, кажется мне, приставил к городу в качестве такого человека, который непрестанно будит, убеждает, упрекает каждого из вас в течение целого дня, повсеместно 31 пристает к вам. Другого такого человека нелегко вам будет найти, меня же, если вы поверите мне, вы сбережете для себя. Очень может быть, вы, тяготясь мною, как те люди, которых будят, когда они дремлют, оттолкнете меня, по наущению Анита, и с легким сердцем убьете. Но тогда вы и всю остальную жизнь проведете в спячке, если только бог, в попечении о вас, не пошлет вам кого-нибудь другого. А что я именно таков, каковым бог дал меня городу, вы можете усмотреть из следующего: разве свойственно людям переносить пренебрежение ко всем своим собственным делам, в течение уже стольких 32 лет, запускать свои домашние дела, зато постоянно заниматься вашими делами, обращаться к каждому частным образом, словно как ваш отец, либо старший брат, убеждая вас заботиться о добродетели. И если бы я извлекал из этого какую-либо пользу, получая плату за все эти наставления, тогда еще был бы у меня тот или иной расчет. А теперь вы видите, сами обвинители мои, взведшие на меня столь бесстыдно все эти обвинения, тут, по крайней мере, оказались неспособными к бесстыдству и не выставили свидетеля, будто я когда бы то ни было и от кого бы то ни было домогался получить плату или требовал ее. И это, я думаю, объясняется тем, что я могу представить достаточного свидетеля 33 в правоте своих слов — мою бедность.

Быть может, покажется странным, что я частным образом подаю эти советы, вращаюсь среди всех, хлопочу, а публично выступать в вашем собрании и давать советы государству не осмеливаюсь. Причиною этого служит то, что вы неоднократно и повсюду от меня слышали: со мною бывает нечто божье-

Д ственное и демоническое²³, над чем и Мелет надсмеялся в своей жалобе. Началось это у меня с детства: какой-то голос, который, всякий раз, когда бывает, постоянно отклоняет меня от того, что я намереваюсь сделать, но никогда не склоняет к чему-либо. Вот это-то и препятствует мне заниматься политикою. И, кажется мне, великолепно делает, что препятствует. Будьте уверены, афиняне, если бы я с давних пор пытался заниматься государственными делами, я давно уже погиб бы и не принес бы никакой пользы ни себе, ни вам. И не сердитесь на меня за то, что я говорю вам правду! Нет такого человека, который уцелел бы, если бы он стал честно противодействовать вам или какому иному большинству и стал бы препятствовать тому, чтобы в государстве совершалось много несправедливостей и беззаконий. Нет, кто в самом деле борется за справедливость, тот, если ему и суждено на короткое время остаться целым, неизбежно должен оставаться частным человеком, а не выступать на общественное поприще.

20

Доказательства этому я представляю вам веские — не рассуждения, а то, что вы цените, — дела! Выслушайте, что со мною случилось, и тогда вы узнаете, что я и под страхом смерти не могу, подчиняясь кому-либо, поступать вопреки справедливости, а за неподчинение могу и погибнуть. Я буду говорить вам о делах тягостных и несносных, но истинных.

Я, афиняне, никогда не занимал в государстве никакой в правительственной должности, за исключением того, что был членом совета. И случилось, что наша фила, Антиохида, была очередною в то время, когда вы решили судить огулом десять стратегов, не подобравших погибших в морском сражении, судить их вопреки законам, как вы все признали это впоследствии. Тогда я единственный из пританов воспротивился тому, чтобы вы поступили в чем-либо вопреки законов, и голосовал против. И в то время, как ораторы готовы были обвинить меня и посадить в тюрьму, а вы с криком требовали этого, С я полагал, что мне надлежит скорее подвергнуться опасности,

стоя на стороне закона и права, нежели, из страха пред тюрьмою и смертью, быть заодно с вами, постановившими несправедливое решение. Это было тогда, когда в государстве был еще демократический строй²⁴. Когда же наступила олигархия, „Тридцать“, в свою очередь, пригласили меня и еще четырех лиц в фол и приказали нам доставить с Саламина Льва Саламинца, чтобы казнить его²⁵. Много других такого же рода поручений „Тридцать“ давали многим другим людям, желая наивозможно большее число из них опорочить. Однако, и тогда я не на словах, а на деле доказал, что смерть меня — чтобы не выразиться слишком резко — не страшит решительно несколько, совершить же нечто несправедливое и нечестивое — вот это меня всячески заботит. И действительно: тогдашнее правительство — а оно обладало большою силою — меня не испугало и не заставило меня сделать что-либо несправедливое. И вот, когда мы вышли из фола, четверо из нас отправились на Саламин и доставили в Афины Льва, я же немедленно ушел домой. И может быть, мне за это пришлось бы расстаться с жизнью, если бы правительству в скором времени не пришел конец²⁶. И этому у вас найдется много свидетелей.

21

Неужели, по вашему, мне довелось бы прожить столько лет, если бы я занимался общественною деятельностью, и, занимаясь ею достойно звания порядочного человека, приходил бы на помощь правым и считал бы это, как и должно считать, выше всего? Едва ли, афиняне. И не я только, но и всякий другой человек! Я же, если бы и занимался в своей жизни какою-либо общественною деятельностью, оказался бы таким человеком, и в частном обиходе был бы таким же, никогда ни с кем я не вступил бы в соглашение ни в чем, раз это шло в разрез со справедливостью, ни с кем даже из числа тех, которых клеветники мои называют моими учениками²⁷.

Нет, никогда ничьим учителем я не был. Если бы кто — будь то молодой, будь то старый — желал меня слушать, вести беседы со

мною, следить за тем, как я исполняю свое дело, я никому никогда не возбранял этого. И не то, чтобы я за деньги вел беседы, а не получая их—не вел²⁸. Нет, одинаково, и богатому и бедному я предоставляю задавать мне вопросы, а если кто хочет, то и отвечать мне и слушать, что я говорю. И за то, честные ли эти люди, или нет, я, по справедливости, не отвечаю, так как никому из них никогда никакого обучения не обещал и ничему их не учил. Если же кто утверждает, что он когда-либо чему-либо научился от меня, или услышал отдельно то, чего не слышали бы и все прочие,—будьте уверены, что он говорит неправду.

22

Но почему же некоторым доставляет радость проводить со мною время подолгу? Вы слышали это, афиняне, я вам сказал всю правду: эти люди с радостью слушают, как я испытываю тех, которые считают себя мудрыми, не будучи таковыми. А это очень приятно. Делать же это мне, как я утверждаю, повелено богом и чрез прорицания, и на основании сновидений, и всяческими, вообще, способами, какими когда-либо какая-либо и в других случаях воля божия повелевала человеку что-либо делать. Это, афиняне, и согласно с истиною, и легко доказать. В самом деле: если одних молодых людей я развращаю, других развратил, то тем из них, которые состарились и пришли к сознанию, что в то время, когда они были молоды, я им когда-либо подал какой-то дурной совет, должны были бы, конечно, теперь выступить моими обвинителями и требовать возмездия. А если сами они не пожелали этого, то об этом должны были вспомнить теперь и потребовать возмездия кто-либо из близких к ним,—отцы, братья, другие родственники, коль скоро эти близкие испытали от меня какое-либо зло. Во всяком случае, многие из них присутствуют здесь, и я вижу их. Вот, прежде всего, Критон, мой сверстник и земляк, отец вот этого Критобула; далее, Лисаний сфеттиец, отец вот этого Эскина; затем вот этот Антифонт, отец Эпигена; а вот и еще братья, проводившие со мною время: Никострат, сын Феозоида и брат Феодота—сам-то Феодот умер, так что он не мог бы исполнить просьбы

брата; а вот и Паралий, сын Демодока, у которого был брат Феаг; вот Адимант, сын Аристона, братом которому приходится вот тот Платон, и Эантодор, у которого есть брат вот тот Аполлодор²⁹. И много других я могу вам назвать. Из них кого-нибудь Мелету непременно следовало в своей речи выставить в качестве свидетеля. Если он тогда забыл сделать это, пусть выставит теперь — я позволяю — и пусть заявит, если может заявить что-либо подобное³⁰. Но вы встретите все совершенно противоположное этому: они все готовы притти на помощь мне, их развратителю, человеку, приносящему зло их близким, как утверждает это Мелет и Анит. Сами развращенные мною, быть может, еще имеют основание притти мне на помощь. Но родственники-то их, не развращенные мною, люди уже пожилые, какой иной расчет у них притти мне на помощь, кроме прямого и справедливого расчета: они сознают, что Мелет говорит ложь, а что я говорю правду. В

23

Но довольно! Почти все то, что я мог бы привести в свое оправдание, заключается в этом и, может быть, кое в чем в другом, в таком же роде. Возможно, кто-нибудь из вас будет негодовать, вспомнив о себе самом, как он, хотя процесс у него был и менее важен этого, моего, процесса, упрасивал и умолял судей, обливался слезами, и чтобы еще больше возбудить в них жалость, приводил своих малолетних детей и много других близких и друзей, — а я ничего подобного, конечно, не намерен делать, хотя и подвергаюсь в данное время, как может показаться, крайней опасности. Может быть, приняв все это в соображение, кто-нибудь и отнесется ко мне с большою жестокостью и, разгневанный всем этим, подаст свой голос с чувством гнева. Настроен ли кто из вас так, я не решаюсь этого утверждать. Но если кто настроен так, то, думается мне, я могу обратиться к нему надлежащим образом с такими словами: „Добрейший, и у меня есть кое-какие близкие. Ведь тоже и я, как говорится у Гомера, произошел „не от дуба, не от скалы“³¹, но от людей, так что и у меня есть близкие и сыновья, афиняне, один из них отрок, двое — мало- D

летних³². И тем не менее, ни одного из них я ни привел сюда и не буду просить вас об оправдании. Почему же, однако, я не сделаю ничего подобного? Не вследствие надменности, афиняне, не из презрения к вам. Боюсь ли я смерти, или не боюсь, это — другой вопрос, но для славы, и моей и вашей и всего государства, кажется, было бы нехорошо мне поступать так в такие годы, при той репутации, какая за мною упрочилась — соответствует ли она истине, или фальшива, — все равно. Как бы то ни было, общее мнение, то, что Сократ чем-то отличается от большинства людей. А если окажутся *такowymi* те из вас, которые, повидимому, отличаются либо мудростью, либо мужеством, либо другою какою добродетелью, то это будет постыдно³³. Неоднократно я видел, как люди, казалось бы, представляющие собою нечто, проделывали, во время суда над ними, удивительные вещи, как будто они думали, что они испытают нечто ужасное, если потеряют жизнь, что они станут бессмертными, если вы их не убьете. Такие люди, по моему мнению, навлекают на государство позор, так что какой-нибудь иноземец может предположить, что те из афинян, которые отличаются добродетелью, которым сами афиняне оказывают предпочтение при занятии должностей и прочих почетных мест, что эти люди вовсе не отличаются от женщин. Этого, афиняне, не следует делать ни вам, если вы себя хоть сколько-нибудь цените, и не следует вам допускать, чтобы мы это делали; напротив, вы должны показать, что вы гораздо скорее осудите того, кто разыгрывает такие жалостные представления и делает государство смешным, чем того, кто ведет себя спокойно.

24

Не говоря уже о доброй славе, [какою я пользуюсь среди горожан], мне кажется, и несправедливым — просить судью и стараться избегать наказания просьбами; судью следует настаивать и убеждать. Ведь судья посажен не для того, чтобы творить суд пристрастно, но для того, чтобы судить справедливо. И присягал он не в том, что будет оказывать снисхождение кому ему заблагорассудится, а в том, что будет судить по законам³⁴. По-

этому и нам не следует приучать вас нарушать присягу, да и вам не следует приучаться к этому, иначе и мы, и вы можем впасть в нечестие. Итак, не требуйте, афиняне, чтобы я проделывал пред вами то, что я не считаю ни хорошим, ни справедливым, ни благочестивым, в особенности еще теперь, когда вот этот Мелет³⁵ обвиняет меня в нечестии. Ибо ясно, если бы я стал убеждать вас и оказывать давление на вас, принесших присягу, своими мольбами, я стал бы учить вас думать, что богов не существует, и вместо того, чтобы просто защищаться, обвинил бы самого себя в том, что не признаю богов. Но это далеко не так: я признаю их, афиняне, как никто из моих обвинителей, и поручаю вам и богу рассудить меня так, как это должно быть лучше всего и для меня, и для вас.

25

Многое, афиняне, способствует тому, чтобы я не негодовал на то, что случилось, а именно, что вы меня осудили, между прочим и то, что случившееся произошло для меня не неожиданно³⁶. Гораздо больше следует удивляться числу голосов, оказавшихся на той и на другой стороне³⁷. Ведь я не думал, что разница будет так мала; я думал, что она будет гораздо больше. Теперь же оказалось: если бы только тридцать голосов перепали с одной стороны на другую³⁸, то я был бы оправдан. От Мелета, кажется мне, я и теперь избавился; да и не только избавился, а вот что еще ясно для всякого: если бы Анит и Ликон не явились сюда обвинять меня, то Мелет должен был бы уплатить тысячу драм, как не получивший в свою пользу пятой части голосов³⁹.

26

Итак, Мелет требует для меня в качестве наказания смертную казнь. Прекрасно! А я-то, афиняне, какое наказание предложу вам для себя, с своей стороны? Очевидно того, какое заслуживаю? Но какое же? Чего же, в виде телесного наказания, или денежного штрафа, заслуживаю я за то, что в результате своего жизненного опыта⁴⁰, я не предавался покою, но пренебрег всем

тем, о чем заботится большинство, — наживою денег, домашним хозяйством, стратегиями⁴¹, выступлениями в народном собрании, всеми прочими общественными должностями, участием в заговорах, партийными распрями, бывающими в государстве⁴², — считая себя, на самом деле, слишком честным прибегать к таким средствам для того, чтобы оставаться невредимым; за то, что я не шел туда, где ни вам ни самому себе не мог принести никакой пользы, но шел туда, где мог, частным образом, каждому из вас оказать величайшее благодеяние, как я это утверждаю, и старался каждого из вас убеждать — не заботиться раньше ни о чем своем, как о самом себе, чтобы стать наивозможно более хорошим и рассудительным, ни о государственных делах, прежде чем о самом государстве, и обо всем прочем заботился таким же образом? Итак, чего же заслуживаю я, будучи таковым? Чего-нибудь хорошего, афиняне, если должно, по правде, назначать наказание человеку по его заслугам, и притом такого хорошего, чтобы оно подходило для меня. Что же подходит для бедного „благодетеля“⁴³, нуждающегося в досуге для того, чтобы назидать вас? Для такого человека, афиняне, подходит всего более... получать кормление в пританее; это подходит для него гораздо более, нежели для того из вас, кто одержал победу на Олимпиях верхом, или на паре, или на четверке⁴⁴. Ведь такой человек делает только то, чтобы вы *казались* ечастливыми, я же делаю то, чтобы вы *были* счастливыми; к тому же он ни в каком прокормлении не нуждается, а я нуждаюсь. Итак, если я должен, по справедливости, назначить себе достойное наказание, я назначаю себе вот какое — кормление в пританее.

27

Может быть, вам кажется, что я и это говорю в таком же тоне, как говорил о сострадании, об усиленных мольбах — из-за своего высокомерия. Но это не так, афиняне. Скорее дело вот в чем. Я убежден, что намеренно не обижаю ни одного человека, но вас в этом я убедить не могу: короткое время мы беседовали друг с другом. Между тем, по моему мнению, вы убедились бы в этом, если бы у вас, как у других людей, суще-

ствовал закон — о смертной казни постановлять решение не в течение одного только дня, но многих дней⁴⁵. Теперь же не- в
легко в короткое время освободиться от великих клевет. Итак, будучи убежден в том, что я никого не обижаю, я едва ли стану обижать самого себя, говорить о самом себе, что я достоин чего-либо дурного и назначать себе что-либо подобное. Из страха пред чем? Как бы не подвергнуться тому, чего требует для меня Мелет, и о чем, повторяю, я не знаю, хорошо ли оно, или дурно? Что же, взамен этого, выбрать себе такое наказание, о котором я наверное знаю, что оно есть зло? Заточение? Но ради чего я должен присудить себя к заключению в тюрьме и стать рабом у постоянно меняющейся власти, у один- С
надцати?⁴⁶ Или денежную пеню и оставаться в заточении, пока я ее не выплачу? Но для меня это — то же, о чем я только что говорил [т. е. вечное заточение], так как у меня нет денег, которых я мог бы выплатить. Или назначить себе наказанием изгнание? Это наказание и вы, быть может, готовы были бы назначить. Сильно, однако же, оказался бы я привязанным к жизни, если бы был настолько несообразительным, что не мог бы сообразить вот чего: вы, мои сограждане, не в состоянии были вынести моего у вас пребывания и моих бесед; оно стало D
для вас слишком тягостным и противным, так что вы стремитесь теперь от него освободиться. А другие-то, разве легко его вынесут? Едва ли, афиняне. Хороша была бы моя жизнь — уйти человеку такого возраста, как я, менять один город на другой, жить повсюду гонимому! Я, ведь, уверен, что, куда бы я ни прибыл, молодые люди везде будут, как и здесь, слушать мои беседы. И если я их буду отгонять, они сами меня изгонят, подговорив старших. Если же я не буду их отгонять, их отцы и E
близкие из-за них же самих меня изгонят.

Но, пожалуй, кто-нибудь скажет: „Покинув нас, Сократ, разве ты не будешь в состоянии жить в молчаливом спокойствии“? Вот тут-то всего труднее убедить некоторых из вас. В самом деле: если я скажу, что это значит не повиноваться богу и что

вследствие этого невозможно мне оставаться спокойным, вы не
38 поверите мне и подумаете, будто я лицемерю. Если, с другой стороны, я скажу, что величайшее благо для человека заключается в том, чтобы каждодневно вести беседы о добродетели и обо всем прочем, о чем, вы слышали, я беседую, исследуя самого себя и других, жизнь же без такого исследования не стоит и называть жизнью,—если я вам это скажу, вы поверите мне еще менее. На деле-то это так, как я утверждаю, но убедить в этом нелегко. Да и к тому же я не привык считать себя достойным
В чего-либо дурного. Если бы у меня были деньги, я назначил бы себе наказание уплатить деньги, сколько полагается, и в этом для меня не было бы никакого вреда. Но, ведь, денег-то теперь, у меня нет, разве только если вы пожелаете наложить на меня такой штраф, какой я могу уплатить. Пожалуй, я мог бы еще вам уплатить одну мину серебра⁴⁷. Вот такой-то штраф я и назначаю себе.

А вот этот Платон, афиняне, Критон, Критобул, Аполлодор велят, чтобы я назначил тридцать мин, и поручительство берут на себя. Итак, я назначаю, тридцать мин, поручителями же в уплате денег будут у вас эти надежные люди!

29

С Ради столь короткого времени⁴⁸, афиняне, приобретете вы себе дурную славу! Люди, желающие злословить государство, будут обвинять вас в том, что вы убили Сократа, мудрого мужа! Ведь те, кто желает поносить вас, станут утверждать, что я мудрец, хотя я и не мудрец. Если бы вы немного подождали, все бы это случилось для вас само собою. Обратите внимание на мой возраст: до жизни уже далеко, к смерти близко!

Д Это я говорю не всем вам, но тем, которые присудили меня к смертной казни. Скажу я последним еще и вот что. Быть может, афиняне, вы думаете, что я осужден потому, что у меня не хватило таких слов, которыми я мог бы убедить вас, если бы считал нужным делать и говорить все, лишь бы избежать наказания. Далекое не так! Осужден я из-за недостатка, только не слов, а дерзости и бесстыдства, нежелания говорить пред вами

то, что, быть может, очень приятно было бы слушать, как я, с воплями и рыданиями, стал бы говорить и делать и многое другое, недостойное, как я утверждаю, меня, говорить то, что привыкли вы слушать от всех прочих. Но как тогда⁴⁹ я был того мнения, что не должен, в виду опасности, поступить в чем-либо недостойно благородного человека, так я и теперь не раскаиваюсь в том, что защищался таким образом. Я скорее предпочитаю, защищаясь таким образом, умереть, нежели жить, защитившись иначе. Ведь ни на суде, ни на войне, ни мне, ни кому другому не следует пускаться на подобного рода уловки, позволяя себе все, лишь бы избежать смерти. Ведь и в сражениях часто бывает очевидно, что смерти можно избежать, и бросив оружие, и обратившись с мольбами к преследующим. Да и много других есть средств избежать смерть при всякого рода опасностях: стоит только отважиться делать и говорить все. Но не это тяжело — избежать смерти; гораздо тяжелее избежать нравственной испорченности, так как она набегаёт скорее, чем смерть. Вот и я теперь, человек тихий и старый, захвачен тем, что идет тише, мои же обвинители, люди сильные и проворные, застигнуты тем, что идет быстрее, — пороком. И я теперь ухожу, осужденный вами на смерть, они же, осужденные истиною, уходят на низость и неправду. И я остаюсь при своем наказании, и они при своем. Так этому, пожалуй, и должно было быть, и я думаю, что это — хорошо.

30

Вам, осудившим меня, я хочу сделать предсказание о том, что произойдет вслед затем. Ведь я уже нахожусь в таком положении, когда люди в особенности дают предсказания — это, когда они должны умереть. Я говорю вам, тем, которые убили меня, что возмездие на вас придет немедленно же после моей смерти, возмездие — клянусь Зевсом — гораздо более тяжелое, чем моя смерть, которой вы убиваете меня. Теперь вы сделали это, рассчитывая избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни. Случится же с вами, я утверждаю, совершенно противоположное. Больше у вас будет изобличителей из числа тех, которых я теперь сдерживал, которых вы не замечали. И они бу-

дут тем более жестоки, чем более они молоды, и вы будете на них еще больше негодовать. В самом деле: если вы думаете, что убивая людей, вы удержите этим кого-либо от поношения вас в неправильной жизни вашей, вы неправильно мыслите. Ведь такого рода избавление и не очень-то возможно и не хорошо; а вот другой способ избавления, и самый прекрасный и самый легкий: не насиловать других, а самого себя держать так, чтобы быть как можно лучше. Предсказавши это вам, осудившим меня, я удаляюсь.

31

- Е С теми же, которые вынесли мне оправдательный приговор, я с удовольствием побеседовал бы о всем этом происшествии, пока власти заняты своим делом, и я не отправился еще туда, придя куда, должен умереть⁵⁰. Оставайтесь со мною пока! Ничто не препятствует нам побеседовать друг с другом, пока возможно. Вам, как своим друзьям, я хочу показать, что, собственно, значит приключившееся теперь со мною. В самом деле: со мною судьи — называя вас судьями, я употребляю правильное выражение — произошло нечто удивительное. Обычное для меня во все предшествующее время вещание⁵¹ было очень частым, и постоянно опротиводействовало мне при самых ничтожных случаях, когда я собирался в чем-либо поступить неправильно. Ныне же, как вы и сами видите, приключилось со мною то, что могло бы считаться и что признается величайшим бедствием.
- В И что же? Ни когда я выходил ранним утром из дому, ни когда я входил сюда, в суд, ни во время произнесения речи, когда я собирался сказать что-либо, божественное знамение не противодействовало мне. Между тем, когда я говорил другие речи, оно много раз удерживало меня среди речи. Теперь же, во всем этом деле, оно ни разу не противодействовало мне ни в моих действиях, ни в словах. Как же я должен понять причину этого? Я вам скажу: сдается мне, что приключившееся со мною есть благо, и не может быть, следовательно, правильным ваше предположение, поскольку мы думаем, что смерть есть зло. Этому у меня есть великое доказательство: невозможно допустить, чтобы не противодействовало мне обычное знамение, если бы я не собирался сделать что-либо благое.

Поразмыслим и о том, велика ли надежда на то, что смерть есть благо. Умереть значит одно из двух: или умерший обращается в ничто и не испытывает никакого ощущения от чего бы то ни было; или, согласно общепринятому мнению, смерть есть для души какой-то переход и переселение отсюда в другое место. И если смерть есть отсутствие всякого ощущения, — что-то в роде сна, D когда спящий не видит даже никаких снов, то она была бы удивительною выгодою. В самом деле, я думаю, если бы кто должен был выбрать такую ночь, в которую он так спал, что даже снов не видел и, сопоставив с этою ночью все остальные ночи и дни своей жизни, сообразил бы, сколько дней и ночей в своей жизни он прожил лучше и приятнее в сравнении с тою ночью, то, я думаю, не то что частный человек, но великий царь ⁵² нашел бы, что те ночи в сравнении со всеми остальными днями и ночами пересчитать легко. Итак, если смерть такова, E то я, по крайней мере, считаю ее выгодою, потому что в таком случае все последующее [с момента смерти] время оказывается ничем не больше одной ночи. С другой стороны, если смерть есть как бы переселение в другое место, и если правда то, что об этом говорят, будто там находятся все умершие, то какое благо может быть лучше этого, о судьи? В самом деле: когда придешь в Преисподнюю, освободишься от всех так называемых ⁴¹ судей, найдешь там истинных судей, которые, как говорят, там и творят суд, Миноса, Радаманфа, Эака, Триптолема и всех тех полубогов, которые в своей жизни были справедливыми, то разве это будет плохое переселение ⁵³? Далее: чего не дал бы каждый из вас, чтобы быть вместе с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером ⁵⁴? Да я хотел бы много раз умереть, если это правда! Для меня лично пребывание там было бы удивительным, раз я встретился бы там с Паламедом, Эантом, сыном Теламона, и с кем бы то ни было иным из древних, кто умер из-за несправедливого судебного решения ⁵⁵? Сопоставлять мои заключения с заключениями их, как я думаю, было бы не неприятно. И, самое главное, это — проводить время в том, чтобы испытывать и исследовать тамошних людей так же, как здешних: кто из них

мудр, и кто думает, что он мудр, а на самом деле не мудр. Чего не дал бы, судьи, всякий, чтобы испытывать мужа, поведшего на
 с Тройю большое войско⁵⁶, Одиссея, Сисифа⁵⁷ и тысячи тысяч других мужей и жен? Беседовать с ними там, быть в общении, испытывать их,—да это было бы несказанное блаженство! Само собою разумеется, тамошние люди за это не убивают, потому что они, помимо всего прочего, блаженнее здешних и уже все остальное время бессмертны, если правда то, что об этом говорят.

33

Но и вам, судьи, должно питать благие надежды в отношении смерти. И одно нужно считать истинною, а именно — что с человеком хорошим не бывает ничего дурного ни при его
 D жизни, ни после смерти, что об его делах пекутся боги. И мое теперешнее „дело“ произошло не случайно: для меня очевидно, что лучшее для меня это — умереть и освободиться от всего. Поэтому-то и знамение ни разу не отвратило меня, и я не очень-то досажую на тех, кто осудил меня, и на моих обвинителей. Правда, они осуждали и обвиняли меня, руководствуясь не такими соображениями, но думая мне повредить. Это в них достойно
 E порицания. Тем не менее, я обращаюсь к ним с такою просьбою: моих сыновей, когда они вырастут, накажите, если найдете, что они заботятся о деньгах или о чем-другом больше, чем о добродетели, досаждайте их тем же самым, чем я вас досаждал. Если они будут думать о себе, что они нечто, будучи ничем, поносите их так же, как я поносил вас за то, что они не заботятся о том, о чем должно, и думают, что они нечто, тогда как они
 42 ничего собою не представляют. Если вы сделаете это, вы справедливо поступите и по отношению ко мне самому и моим сыновьям.

Но вот уже и время уходить, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить. А кто из нас идет на лучшее дело, известно одному богу.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ (17 А). Процесс Сократа — процессу предшествовало судебное следствие и допрос свидетелей — слушался в одном из десяти отделений (дикастериев) суда присяжных — (гелиев); судьями были 500 человек, избранных по жребию из общего состава 5000 присяжных очередных и 1000 запасных. Первое слово на процессе принадлежало обвинителям Сократа. По окончании их речей выступает с защитительной речью Сократ.

² (17 С). Сократу, как видно ниже, было тогда 70 лет.

³ (17 D). В афинском суде не возбранялось шумными криками выражать оратору одобрение или неодобрение.

⁴ (18 В). Официальными обвинителями Сократа были Анит, Мелет и Ликон; из них первый, пользовавшийся в Афинах большим значением во время господства Тридцати, был, очевидно, главным обвинителем.

⁵ (18 В). То же, что софист.

⁶ (18 В). Т. е. он — натурфилософ; однако, Сократ интересовался натурфилософией только в пору своей молодости.

⁷ (18 В). Софисты, посредством риторических тонкостей, умели пустякам придавать вид чего-то важного, белое делать черным, и наоборот.

⁸ (18 D). Комики любили делать мишенью своих шуток и острог философов вообще, Сократа по преимуществу.

⁹ (19 А). И для обвинительной и для защитительной речи назначался строго определенный срок.

¹⁰ (19 В). Дословно „следует привести противную клятву“ (*ἀνταμοσία*); так называлась клятва обвинителя и обвиняемого — первого в том, что его жалоба законна, справедлива и не содержит в себе клеветы, — второго в том, что он, по совести, считает себя невиновным и в защите своей будет говорить только правду.

¹¹ (19 С). Имеются в виду „Облака“ Аристофана, где Сократ изображен висящим в корзине.

¹² (19 Е). Знаменитые софисты. О них см. у А. Н. Гилярова, *Греческие софисты*, М. 1888.

¹³ (20 А—С). Каллий, сын Гиппоника, славился своим богатством и распутомством.—Евен из Пароса—знаменитый софист.—Пять мин=500 драм=500 франков. Вся глава проникнута тонкою иронией насчет воспитательной деятельности софистов, с которыми обвинители Сократа смешивали его и сопоставляли.

¹⁴ (21 А). Херэфонт — один из искреннейших приверженцев и друзей Сократа, во время господства Тридцати эмигрировал из Афин и вернулся туда, когда там одержала победу демократическая партия.

¹⁵ (21 А). По Лаертию Диогену, оракул был дан в такой форме: „Из всех мужей Сократ мудрее всех“; по схолиям к „Облакам“ Аристофана: „Мудр Софокл, мудрее Еврипид, из всех мужей Сократ мудрее всех“.

¹⁶ (23 Е). Отец Мелета, Мелет (старший), был, по известиям древних, „плохим“ трагическим поэтом, подвергавшимся жестокому нападкам со стороны комиков. В лице отца сын вступился за поэтов вообще. Анит играл в Афинах политическую роль (Kirchner, *Prosopographia attica*, I, 1324); поэтому он и вступился за государственных деятелей; за ремесленников он вступился потому, что сам был кожевником и на этом ремесле нажился. Ликон (Kirchner, ук. соч. II, 9271) был, по свидетельствам древних, „демагогом“; его также постоянно высмеивали комики.

¹⁷ (24 Е). „Слушатели“ — публика, присутствовавшая при разбирательстве дела.

¹⁸ (25 А). Члены совета Пятисот (*βουλή*).

¹⁹ (26 D). По учению Анаксагора, старшего современника Сократа, существует бесчисленное множество элементов, из которых одни, качественно сродные, соединяются друг с другом, другие, будучи различными между собою, разъединяются. В центре мира находится земля, окруженная воздухом; звезды — особые тела; луна, подобно земле, обитаема; солнце — раскаленная, каменная масса. Подробности см. у С. Н. Трубецкого, *Метафизика в древней Греции*, М. 1910, 343 сл.

²⁰ (26 Е). Место толкуется двояко: или под „оркестроу“ понимается книжная лавка на афинской агоре, где можно было за дешевую плату купить сочинения Анаксагора; или имеется в виду „оркестра“, как часть театра, где, во время спектаклей, высказывались действующими лицами взгляды Анаксагора. Первое толкование предпочтительнее.

²¹ (28 В—D). Имеются в виду слова Илиады (XVIII, 79 сл.) об Ахилле, передаваемые отчасти дословно, отчасти в перефразированном виде.

²² (28 Е). Упоминаются те битвы во время Пелопоннесской войны, в которых участвовал Сократ: при Потидее, на Фракийском берегу, в 432 г., при Делии, в Беотии, в 424 г., при Амфиполе, у устья Стримона, в 422 г.

²³ (31 D). В рукописях „после божественное и демоническое“ стоит еще *φωνή*, „голос“; слово это Форстером правильно признано поздней вставкой.

²⁴ (32 В—С). Сократ вспоминает о процессе над афинскими стратегами, участвовавшими в битве при Аргинусских островах, около Лесбоса, в 406 г. Стратеги эти выиграли битву, тем не менее подверглись обвинению в том, что они не озаботились подобрать трупы погибших в море воинов, предоставив это своим подчиненным, таксирхам. Суждение о предании стратегов суду происходило в совете, в то время, когда очередная смена совета (так называемая притания) выпала на долю филы Антиохиды, к которой принадлежал Сократ, бывший одним из 50 пританов (очередных членов совета). Из этих 50 лиц избирались по жребию десять человек, которые были председателями совета (проедрами), с эпистатом во главе. Все проедры высказались за вынесение смертного

приговора стратегам; один Сократ восстал против этого решения и требовал, согласно закону, чтобы стратегов судили не огулом, но каждого в отдельности. Протеста Сократа не послушались, стратеги были осуждены на смертную казнь. Обо всем этом деле рассказывается в „Греческой истории“ Ксенофонта (I, 7, 14. 15. 38). Ср. также Платон, Менексен, 243 С. Самому Сократу его протест мог и не пройти даром: по действовавшему в Афинах праву, его можно было привлечь к ответственности в „административном порядке“, т. е. применить к нему ту форму судебного процесса (*ἐνδειξις*), при которой обычные законные формальности не соблюдались, и виновный должен был или представить за себя поручителей, или немедленно идти в тюрьму.

²¹ (32 С). Господство „Тридцати“ установилось в Афинах в 404 г., после покорения их Лисандром.—Фол—официальное название его было скиада—находился на афинской агоре и служил присутственным местом и, вместе с тем, обеденною залю очередных пританов; это была круглая постройка с каменной крышею.— Лев, родом с Саламина, был богатый афинский гражданин; во время господства Тридцати он эмигрировал на родину, на Саламин, опасаясь козней с их стороны; он силою возвращен был в Афины и предан казни. См. Ксенофонт, Греческая история, II, 3, 39. Воспоминания о Сократе, IV, 4, 3.

²⁶ (32 D). Господство Тридцати продолжалось всего около 8 месяцев.

²⁷ (33 А). Намек на Алквиада и Крития, из которых первый принес много зла родине, а второй принадлежал к числу Тридцати. Оба они в молодости вели компанию с Сократом, что и дало повод врагам его обвинять его в том, что он развратил их. См. Ксенофонт, Воспоминания о Сократе, I, 2, 12 сл.

²⁸ (33 А). Намек на корыстолюбие софистов.

²⁹ (33 D—34 А). Критон, по имени которого назван один из диалогов Платона, происходил из одного с Сократом дема — Алопеки. Лисаний, из дема Сфетта, отец Эскина, „Сократовца“. Антифонт, из дема Кефисии, не должен быть смешиваем с оратором Антифонтом, из дема Рамнунта. Феагу посвящен один из диалогов Платона. Адимант, вероятно, брат Платона, упоминаемый в „Государстве“. Аполлодор упоминается в „Федоне“. Об остальных упоминаемых здесь учениках и последователях Сократа других сведений не сохранилось.

³⁰ (34 А). По правилам афинского процесса, обвинитель, до окончания речи защитника, не имел права прерывать его.

³¹ (34 D). Одиссея, XIX, 163: Пенелопа, не узнав воротившегося супруга, просит сказать незнакомца о его происхождении и прибавляет: ведь ты произошел не от дуба и не от скалы.

³² (34 D). Старший сын Сократа, Лампрон, называется в „Федоне“ взрослым (*μεγας*); двое других, Софрониск и Менексен, называются там „малыми“ (*σμιλλοι*).

³³ (35 А). Т. е. если и такие люди будут возбуждать к себе в судьях страдание упомянутыми выше неблагоприятными способами.

³⁴ (35 С). Формула судейской присяги была, по Демосфену (против Тимократа, 149) такая: я подам свой голос согласно закону и постановлениям афинского народа и совета пятисот . . . и буду выслушивать обвинителя и защищающегося одинаково, их обоих. По Полидевку (VIII, 122), судейская присяга была

такова: о чем есть законы, подавать голос согласно законам; о чем нет законов,—по справедливейшему суждению.

³⁵ (35 D). В рукописях после слов „в особенности еще теперь“ следуют слова „*ἤ δια πάντως*“ (клянусь, во всяком случае, Зевсом); эти слова Шталлябаум основательно считает позднюю вставку.

³⁶ (36 A). Афинские судебные процессы были двойного рода: 1) если вина подсудимого подходила под одну из статей уголовного кодекса, то по ней и назначалось ему наказание; 2) если вину подсудимого нельзя было подвести под определенную статью кодекса, наказание налагалось самим судом. В таком случае обвинителю предоставлялось право предложить наказание для осужденного; с другой стороны, и последнему закон предоставлял право самому себе назначить наказание, достойное, по его мнению, его вины. Процесс Сократа принадлежал ко второму роду. Обвинители назначили Сократу в наказание смертную казнь.

³⁷ (36 A). Т. е. оправдательных и обвинительных.

³⁸ (36 A). В суде присяжных (гелие) по делу Сократа участвовали, как известно, 501 член, так что для оправдания Сократа требовалось самое меньшее 251 голос. Из слов Сократа выходит, что за него подано было 221 голос, против него 280 голосов. По свидетельству Лаертия Диогена (II, 41), обвинительных голосов подано было 281, стало быть, оправдательных 220, так что для оправдания число одних голосов должно было бы уменьшиться, а других увеличиться на 31, а не на 30, как говорится в „Апологии“. Противоречие между показаниями последней и Лаертия Диогена думают устранить тем, что предполагают, будто взята круглая цифра 30 вместо 31. Но это мало вероятно по соображениям, указываемым С. Н. Трубецким, который обращает внимание на то, что чтение данного места в „Апологии“ в рукописях несомненно надежно, и склонен, повидимому, предполагать, что вместо рукописного *μόνοι* (только), может быть, следует читать *μία*; тогда получился бы, согласно с Лаертием Диогеном, 31 голос.

³⁹ (36 B). Когда за обвинение высказывалось менее пятой части присяжных, обвинитель платил штраф в 1000 драхм (франков) и навсегда лишался права выступать обвинителем кого бы то ни было. Вместо 100 голосов, на Мелета, как на одного из трех обвинителей, приходится только 281 (280) : 3 = 93 — 94 голоса.

⁴⁰ (36 B). Вместо рукописного *μαδών* (научившись) следую поправке Германа *παδών*.

⁴¹ (36 B). Т. е. должностью стратега, высшею должностью в Афинском государстве.

⁴² (36 B). Намек на партийную борьбу, бывшую во время Сократа в Афинах.

⁴³ (36 D). Греки награждали титулом „благодетеля“ лиц, оказавших государству какие-либо особые услуги.

⁴⁴ (36 D). Пританей — одно из главных присутственных мест в Афинах где, между прочим, столовались на государственный счет пританы, иностранные послы и некоторые из заслуженных граждан, а также победители из афинян на Олимпийских состязаниях.

⁴⁵ (37 В). Имеются в виду спартанцы, государственный строй и быт которых пользовались симпатиями и Сократа, и Платона.

⁴⁶ (37 С). Надзор за тюрьмами, а также приведение в исполнение смертных приговоров лежал на обязанности особых, ежегодно избираемых по жребию лиц, так называемых, одиннадцати.

⁴⁷ (38 В). Мина = 100 драхам (франкам).

⁴⁸ (38 С). Подразумевается, остающегося до моей смерти. Последствием второй речи Сократа было, как известно, то, что, при назначении ему наказания, число противных голосов увеличилось на 80.

⁴⁹ (38 Е). Т. е. до вынесения смертного приговора.

⁵⁰ (39 Е). Упомянутые одиннадцать, которые должны были приготовить помещение для Сократа в тюрьме.

⁵¹ (40 А). „Вещание“ — *μαντιή*; за этим словом в рукописях стоит *ἡ τοῦ δαιμονίου* („демоническое“), что Шлейермахером признано поздней вставкой.

⁵² (40 D). Т. е. персидский царь, как образец земного счастья и могущества.

⁵³ (41 А). Миноса, сына Зевса и Европы, царя и законодателя критян, уже Одиссея называет судьей мертвых. Брата Миноса, Радаманфа, поэты прославляли за здравомыслие и справедливость. Эак, сын Зевса и Эгины, признавался благочестивейшим из греков. Триптолема, царя Элевсинского, давшего элевсинцам мудрые законы, основавшего Элевсинские таинства, древние почитали как бога и сделали его одним из главных судей в Преисподней.

⁵⁴ (41 А). Т. е. с древнейшими поэтами — учителями греков.

⁵⁵ (41 В). Паламед — герой Троянской войны, убитый несправедливо во время ее греческим войском, из-за происков Одиссея, по подозрению в измене. Эант, сын Теламона, храбрейший, после Ахилла из вождей, участвовавших в Троянской войне, не получил после смерти Ахилла его вооружения, доставшегося Одиссею; оскорбленный этим, Эант в припадке безумия, лишил себя жизни.

⁵⁶ (41 С). Т. е. Агамемнона.

⁵⁷ (41 С). Легендарный царь Коринфа, наказанный, за коварство и корыстолюбие, в Преисподней тем, что должен был вечно вскатывать на высокую гору огромную скалу.